

Евгения КОРЕШКОВА

Родилась в 1963 году в селе Владимирском Горьковской области. По образованию ветеринарный врач.

Автор ряда книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Живет в деревне Овсянка Нижегородской области.

ЕЗДОВОЙ

Отрывок из книги

Мы возвращались. Все до единого возвращались. Задание было выполнено успешно. Линию фронта разведгруппа проскочила весьма удачно, даже лыж не снимая. Стреляли нам уже вдогон, издалека и мимо. Мы весьма лихо показали фашистам хвост и почти летели полем, над низкой снежной порошей, из последних сил уходя к своим. До мелкого кустарника в ложбинке я домчалась предпоследней, уже на последнем издыхании. Там-то нас и накрыли прощальным минометным приветом с вражеской стороны. И откуда резвость у меня, загнанной, взялась! Я свалилась сначала набок. На лыжах ужасно неудобно! А уже потом ничком, комочком, под ненадежное, но укрытие заснеженного кустика. Рацию с плеча и под себя, обнимая. Слева и сзади бабахнуло почти рядом. На спину посыпались комья земли, снега и срезанные веточки. Сейчас и убьют! Там не достали, так здесь, сейчас. Жмусь лицом в снег, стремясь сделаться маленькой, как точка на бумаге. И еще меньше! А оно вновь бабахает и еще.

Мама! Вот жуть!

И тишина. Я слышу, командуют:

– Встаем!

Это и мне вставать? А вдруг сейчас снова? А может, я лучше тут пока полежу?

Изо всей группы не повезло только Николаю, который Ник. Пока я поднималась, отряхивалась, снимала лыжи и подходила, на нем уже порвали маскхалат, задрали ватник до лопаток и быстро бинтуют. И я вижу, как бинт сразу промокает ярко и обильно по левому боку. Ник в сознании, он, криво вздернув губу над стиснутыми крупными зубами, заглядывая, смотрит на перевязку. А остальные целы. Даже я. Что удивительно.

Ник после перевязки даже сам идет на лыжах. Медленно, но идет. Почти до самой дороги дошел, где и свалился все-таки. Снимаем лыжи. Дорога – зимник наискосок, через поле или луг, под снегом не поймешь. Короче, по открытому пространству. Она взрыта колесами и гусеницами и поэтому неправдоподобно широка. Мы идем по краю, накатанным

санним следом. В поле не суемся больше, ибо на входе из той низинки табличка предупредительная торчит. Немецкая еще. «Мины!» – гласит она. Идти удобно. Ника ведут под руки. Нужно будет – понесут. Но все, даже он, понимают, что группа устала. И тянется в сторону своих уже на одном упорстве. Рваная и непонятная, еще не оформившаяся линия фронта позади. Осталось одно: Дойти. В сторону фронта колонной проходят танки. Наши. Постоять бы, посмотреть бы на них, помахать веселым танкистам, но я еле плетусь, таща рацию за спиной и лыжи на плече. Я смотрю только себе под ноги, количество танков отсчитывая лишь по лязгу гусениц и реву моторов.

– Эй, разведка! – окликают нас бодро и почти весело. – Давайте сюда вашего раненого. Я все равно в санбат еду. Потеснятся немного мои пассажиры.

Оказывается, нас нагнали две лошадки, запряженные в щедро застеленные соломой розвальни. Одна, рыжая и крупная, проехала не оставившаяся. В тех санях лежали трое раненых, больше некуда. Возчик что-то еще прокричал, обернувшись к напарнику, вроде: догоняй. У нашего ездового, с виду деревенского растетехи, ушанка сбита на один бок, открывая лохматый, спутанный, слегка рыжеватый чуб. Ему чуть за тридцать примерно, не мальчишка уже, молодой мужчина, крепкий и коренастый. Он щурится на снег из-под светлых бровей домиком. И весело улыбается толстыми губами. У него в санях тоже раненые, двое. Один с почти полностью замотанной кровавыми бинтами головой и левой рукой. Другой без одной ноги по колено и в двух местах забинтованной другой. Наши парни аккуратно пристраивают к ним под бок совсем обессилевшего Ника вместе с его лыжами. А ездовой, хлопочущий вокруг своих саней, вдруг видит меня.

– Эй, командир, сажай уж и мальчишку, недомерка своего. Еле идет ведь. Чай, Ромашка вывезет, бог даст. – Это – я-то недомерок?! Ну вот за что?

– То девушка, земля!

– Ох ты ж! Все равно, чай, пусть садится. Прокачу, не обижу. А ты откуда сам-то, коль поговору узнал!

– Лысково. Слыхивал?

– А то! Мы чай сколько раз туда со стеклом ездили, Волгой, через Макарий. А я с Воскресенского. Про озеро Светлояр, чай, слышал? – И, не дожидаясь ответа, чмокает толстыми губами. – Давай, Ромашка, вывози.

И мы едем. Мои лыжи тоже Нику под бок. Санная дорога, в отличие от разбитой основной, наезжена гладко. Пестрая, нелепая такая лошадка, бело-рыжая, с темной гривой и хвостом, словно из отдельных крупных лоскутов сшитая, тянет розвальни бойкой рысью. И перед моим лицом близко качается тщательно расчесанный хвост.

Наша группа потихоньку отстает. Ладно, санбат они отыщут. Это несложно. Я их там подожду. И прослежу заодно, куда и как Ника определят. Я сию слева, на корточках возле высокого санного передка, перед головами лежащих раненых, пристроив рядом мешок с рацией. Ехать куда приятнее, чем пешком топтать. А ездовой, счастливый такой, смотрит в сторону и вверх, в никуда. Он долго и мечтательно улыбается сам себе всем своим простецким деревенским лицом. А ветерок справа так и тянет, колючий, зимний, ядреный. Поэтому я поднимаю воротник свитера до верхней губы. Если подбородок прижать, и нос спрячу. А капюшон и так по самые брови резинкой стянут. Холодно. Вспотевшая

от бега спина начинает остывать. Сколько-то едем молча. Лишь раненый, который без ноги, то и дело мычит, в беспамятстве перекатывая голову со стороны на сторону.

А потом ездовой поворачивает ко мне веселое, румяное от ветра лицо.

– Ну что, давай знакомиться, что ли? – И представился первым: – Я Санюха. А ты

– Анна, – буркаю я, не разделяя его радости.

– Вот так раз! – не прячет крупные зубы мужчина. – Анна! Ишь ты! Вот как твои родители с именем промахнулись?! Анна, оно ведь как – имя сильное, мощное, солидное. Оно ведь ровно колокол звенит. А ты с виду – мелочь недокормленная. Совсем как моя теща. Та тоже Анна да еще и Осиповна. Послушаешь не видя – красиво звучит. А глянешь на нее – мышь мышью. Мелкая, тощая. Мне до плеча ростиком если только. А ребятишек двоих родила. Жену мою, Веруху, и брата ее, Павла. Но так и не раздобрела после родов. Как была фитюлькой, так и осталась. И ты такая же. Ну вот не тянешь ты на Анну, так... Нюрашка.

Я не обиделась на Нюрашку. Мне было не до поддевок. Потому что холодно. Вроде недавно сажу неподвижно, а морозец уже настойчиво так лезет под одежду и в мокрые варежки. Пальцы коченеют. Ездовой заметил. Снял с рук огромные овчинные рукавицы.

– Погрейся хоть пока, вояка.

Я ныряю белыми, плохо гнущимися пальцами в жаркое меховое блаженство.

– Тепло! Благодать какая!

– Ты, Нюрашка, на меня не сердись. Я ведь, это, соскучился по разговору. Весь день один да один. Разве на погрузке да разгрузке с кем словцом перекинешься. А то хоть с Ромашкой говори. Она чай, конечно, кобыла умная, понятливая. Только ведь разговаривать-то не умеет. Она третья уже у меня. Вот та-ак.

Он помолчал недолго и продолжил уже весело.

– А сегодня мне письмо из дому пришло. С утра почту отдали. Вот и радуюсь. Жена прислала, Веруха. Подробное письмо. Все описала, что дома творится. Даже сынок и тот мне написал. Ему ведь в школу только осенью. Но написал сам. «Папа бей врага». Печатными буквами. Крупно написал. Чтоб я обязательно увидел. И меня нарисовал вместе с Ромашкой. Даже звездочку красную под дугой изобразил, куда колокольчик вешают. – Ездовому было радостно.

Я старательно отмалчивалась, но вежливо улыбалась в ответ, периодически вставляя в его речь свои «угу» и «ага», участливо кивала. Но ездовому моих кивков было уже мало, он норовил вызвать меня на разговор. Я пересела по-другому, на колени. Потому что ноги затекли. Я старалась не задеть винтовку, что лежала у ездового в ногах.

– А ты что безоружная? – спросил он ехидно так. – Потеряла, поди, что ль, или вовсе ничего не доверили?

– Ничего я не теряла. Что положено, все при мне: и пистолет и гранаты.

– И стрелять, что ли, умеешь?

– Умею.

– Ну-ну. Поверю, – насмешливо так.

И тут сзади и снизу подает голос Ник. Хрипло, с перерывами на болезненные вдохи:

– Ты это... мужик... нашу девочку не цепляй... что она умеет... что нет... не твое дело...

– Да я чё? Я ничё... – сразу идет на попятную ездоной. – Просто больно мелка фитюлька. Разведчик из нее...

– И опять не твое дело, – защищает меня Ник. И я ему благодарна.

Ездоной замолкает ненадолго, аккуратно чуть трогает вожжи, не давая лошади перейти на шаг, и продолжает, мечтательно прикрывая глаза:

– Домой бы сейчас на денек. В ба-аньке попариться, с дубовым веничком! А потом самовар на стол и пироги прямо из печи, горя-ячие, вкуснущие. Таких рыбных пирогов, дева, как у нас во Владимирском, нигде больше не поешь. Поджаристые, открытые. И чтоб рыба вся крупными кусками да на луковой подушке. Ум отъешь! А еще с ягодой ватрушки, с творогом опять же... Хотя... – он умолкает, шумно сглатывая слюну. Видимо, наяву почти представил те пироги. И продолжает уже совсем другим, серьезным голосом, но не прерывая свой монолог: – Время такое сейчас. Не до пирогов. Веруха писала, летом детишек эвакуированных в село привезли. Из Ленинграда которые. Много привезли. Вот где страхи божьи! Тощие, одни глаза да уши разве, напуганные. Которые и на ногах уже не стояли. Ночью спать боялись. Все бомбежку ждали. Школу, что у Люнды на берегу, под детский дом отдали. Народу сразу надо было много работать туда, вот и Веруха пошла. Их ведь, детишек тех, всех обиходить надо, обстирать, накормить, отогреть каждого возле сердца. За одних этих ребятишек, войной искалеченных, фашиста этого бить надо нещадно. Я вот как представлю, что сына моего единственного фашист тиранит, сердце кровью плачет. Но я, так получилось, больше вот с Ромашкой... Всё возим. И раненых, и снаряды, и продовольствие... Мало мне доводится, чтоб самому в атаку. Эх! – вздыхает он. – Мы ведь еще до войны с женой в город уехали, в Горький. А у нас просто говорили: «в город». Там автозавод. Думали горожанами стать. И сын там родился, Виталий. А перед самой войной, в июне уже, призвали меня на переподготовку военную. В лагерь, в Гороховец. Многих знакомых там встретил. Оттуда и на фронт ушел. А жена в деревню уехала. Сложно в городе одной с ребенком. Да и бомбили. Вот ждет меня теперь. Пишет, что с тещей вместе за меня молятся. Хоть и церковь, деревянная которая, закрыли совсем. А в новой, каменной, что на въезде в село, так служб и совсем не было. У нас ведь в селе место особое. Озеро у нас там недалеко, Светлояр называется. Место намоленное, непростое. Вот если вокруг него с молитвой трижды обойти, то Бог тогда человека бережет. И от пуль тоже. Многие туда сейчас ходят, за своих мужей, что на фронте молятся. Помогает. – Он суеверно плюет через левое плечо. – Тьфу, тьфу, второй год пока ни царапинки.

Я слушаю его, периодически кивая и поддакивая. Ну что хотите – не могу я просто так, перед незнакомцем всю себя выворачивать. Да и не положено мне трепаться лишнего. А ездоной может, вот и тарабанит, не переставая. Периодически поглядываю на раненых. Те, двое, лежат с закрытыми глазами. Ник смотрит в небо, изредка морщится. Наверное, думает, что я не вижу. А то бы не стал. Я его знаю, тихушника. Лошадь то идет недолго шагом, то опять бежит рысью. И тогда снежная крошка летит из-под копыт в меня и ездового. Мы почти уже догнали ту, вторую лошадь, запряженную в такие же сани-розвальни. Слева нас быстро обошла колонна из трех грузовиков, тоже в тыл торопятся. За грузом, наверное. И ездоной, так же радостно, показал на них рукой.

– Вот! Вот такие машины у нас на автозаводе делали. Вот они, газики, полуторки родненькие пошли!

А Ник вдруг крикнул:

– Воздух!

Я увидела фашистский самолет позднее. Сначала возник звук мотора. Страшный, громкий, давящий сверху на уши. Я обеспокоенно закрутила головой, ища. А потом и сам фашист попал в поле зрения. Летящий низко вдоль нашей дороги и сеющий на нее темные, жутко воюющие бомбы. Еще только грянули первые разрывы, а ездовой заложил матом нечто заковыристое, хлестнул вожжами лошадь и закричал страшно:

– Гони! Ромашка, гони-и!

В его руке оказался кнут, немедленно взвившийся над пестрым крупом. Меня от рывка мотнуло, чуть не свалив на раненых. В последний миг удержалась. И мы погнались. На диком галопе. Вперед. По дороге. Потому что зима, и в поле не свернуть. Да и мины там могут быть. Мы пронеслись мимо перевернутого, горящего грузовика, что так недавно обогнал нас. Из его кабины свисает головой вниз водитель. Руки почти касаются алого снега. Мимо черных дымящихся воронок. А фашист делает еще один разворот и снова идет на нас. И снег взбивается вокруг частыми, маленькими фонтанчиками от его пулеметов. Впереди нас, слева, от близкого разрыва встает на дыбы и сразу заваливается на спину та, вторая, рыжая лошадь, опрокидывая сани с ранеными. Она резко и быстро дергает всеми ногами, словно продолжая бежать, но уже по воздуху. Что стало с людьми, я не знаю. Мы не могли ни посмотреть, ни помочь.

Мы летим. Мне страшно, и я ору. Громко. Дурью. Нутром. От полной своей беспомощности перед этой нависающей, ревушей смертью. Беспомощности? Ну фиг! Я выхватываю из-под ног ездового его винтовку и пытаюсь ловить в прицел проклятое брюхо фашистского самолета. Я даже заклепки на нем вижу. И эти колеса, или как их там, нелепо торчат. И рожу летчика за стеклом кабины. Я не промахиваюсь ни разу. Я все пули всаживаю в самолет, а он летит и не падает. Понимаете?! Он не падает! Совсем. И он стреляет по нам. Он же видит, гад, и лошадь, и раненых и нарочно стреляет. Белыми мелкими щепками разлетается боковая обноска у наших саней, почти у меня под боком. Ну почему в обойме так мало патронов?! И где у ездового еще эти гремучие патроны? Я не знаю, и не спросишь. Ему не до меня сейчас. Вот сейчас этот гад фашистский еще раз развернется и... Я бросаю себе в ноги бесполезную уже винтовку и выдергиваю свой пистолет. Ну нет, тварина! Вот если постараться влупить по стеклу кабины, прямо в летчика, может, он и грохнетя тогда? Должен же он грохнутья! Должен! Я не вспомню, что именно беспрестанно кричу в диком ужасе, стоя на коленях в этих санях, несущихся по дороге в чистом поле, где ни деревца, чтоб хоть как укрыться. Может быть, и маму. Я не помню, честно. Но я смотрю в небо. Я крепко держу пистолет двумя руками. И они у меня не дрожат. Я со взаимной жадной убийства жду этого неизбежного третьего захода.

Но его не случилось. Потому что из облаков вываливаются два наших истребителя. Два! Наших! И в небе над нами завертелась стремительная, смертельная карусель. Фашисту было теперь не до нас. Ездовой натягивает вожжи храпящей кобылки. И она хоть не сразу, но переходит на шаг. Мужчина немедленно выскакивает из саней и ведет

ее под уздцы. Мокрую от пота и пены, падающей хлопьями, часто бьющую боками и храпящую. Он что-то говорит ей ласковое и гладит по морде.

А фашист вдруг густо задымил, круто пошел вниз. И грянулся оземь с шикарным взрывом!

Теперь я кричала: «Ура!», потрясая над головой зажатым в руке пистолетом. И замолчала только когда задохнулась окончательно.

– Аня, – тихо позвал меня Ник.

Господи, как я могла забыть про него? Про других раненых? Я – идиотка!

– Ты жив? – Я и спросила так же, по-идиотски. Ведь, раз говорит, значит не мертвый.

– Я-то да, – так же тихо и угрюмо отозвался он. И я посмотрела. Раненый, тот, что без ноги, лежал теперь совсем неподвижно. С белым безжизненным лицом.

– В грудь. И в руку еще, – сказал ровным голосом Ник. А я вдруг осознаю, ужасаясь, что та самая, разбитая пулей, рука неизвестного мне бойца, находилась вплотную к руке Ника. И громко икнула. А еще в трех местах был прошиблен бортик, надстроенный у розвальней. Ездовой вроде бы не пострадал. Лошадь тоже. Я убрала пистолет, вылезла из саней и пошла рядом с ездовым.

– ...Вот и некому теперь тебе в правое ухо фыркать, Ромашенька, – грустно вещает мужчина, обтирая пену с ноздрей лошади. – Всё. Отбегал свое Рублик. Узнать бы, что с Никахой? Да никак мне пока. Вот когда раненых сдам... – Он вздыхает еще раз и снова тянется большой рукой к морде лошади, ласково уговаривая: – Ты же у меня у-умница, ты же у меня зо-олотце. Вот сейчас доедем, я тебе овсеца-а положу. И ве-сточек сосновых све-еженьких наломаю. Умница же ты моя! Ведь мало не запалил я тебя. Но ты ж сама понимаешь, Ромашенька. Тут, вишь, беда какая приключилась. А нам надо раненых вывезти было. Ты сейчас отдышись, маленькая, отдышись. Мы сейчас ша-агом поедем. По-другому тебе никак нельзя пока. И останавливаться нельзя тоже. Вот остынешь, тогда и напою. У меня ведь и сахаро-ок для тебя припрятан. Ты иди, Ромашенька, иди, родная... – Увидев меня, идущую рядом, он попросил: – Нюрашка, ты, это, глянь там в санях. Где мы сидели, покопайся. Там попона была свернутая. Достань. Прикрыть мне Ромашку надо. Простынет она, мокрая, на таком морозе. Ей сейчас никак простывать нельзя.

Я нашла плотный рулон (так вот что у меня под ногами мешалось) и подала ездовому.

– Подержи-ка ее пока. Веди тихонечко.

Я перехватываю лошадь под уздцы. Бархатные ноздри, раздуваясь, быстро трепещут, выталкивая жаркий воздух. Огромный, влажный, лиловый глаз недоверчиво косится на меня. Ездовой хлопочет сбоку, укрывая свою драгоценную напарницу прямо на ходу этой большой попоной и как-то хитро закрепляя ее с боков и под брюхом. А я веду лошадь. Первый раз сама. Но веду. Мы почти прибыли. Впереди – палатки санбата. Сейчас только сдать раненых, и все.